

— MONSIEUR ILYA —

Хирург боярских кровей



Monsieur Пуга

**Хирург боярских кровей.
Тень канцлера. Том 2**

«Автор»

2026

Пуа М.

Хирург боярских кровей. Тень канцлера. Том 2 / М. Пуа —
«Автор», 2026

Меня позвал к себе самый страшный человек столицы. Только он не знает некоторых вещей. Я – сын того, кого он свёл в могилу. Я вижу людей насквозь, до последней тайны, которую они прячут даже от себя. И что у меня в груди то, за что таких, как я – жгут без суда. Я вошёл в его дом с поклоном и улыбкой. Не гостем – хирург заходит внутрь, чтобы вскрыть. Столица думает, что приручила ещё одного мальчишку из глуши. Столица ошибается.

© Пуа М., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Глава 1 Семь мостов	6
Глава 2 Лекарь к лекарю	14
Глава 3 Человек канцлера	20
Гл	28
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Хирург боярских кровей. Тень канцлера. Том 2

Глава

Название: Хирург боярских кровей. Тень Канцлера. Том 2

Автор(-ы): Monsieur Пуа

ТГ канала для отслеживания выхода книг

<https://t.me/monsieurilya>

Глава 1 Семь мостов

Столица началась за два дня до того, как Глеб её увидел.

Сначала изменилась дорога. Десять дней тракт был разбитой грунтовкой, где телега ныряла из колеи в колею, а Демьян ругался сквозь зубы на каждом ухабе и жалел рессоры. Потом, под Тверью, грунтовка вдруг сделалась мощёной – ровный камень, пригнанный плотно, колёса пошли гладко, и Глеб, дремавший на поклаже, проснулся именно от тишины. От того, что перестало трясти.

– Барин, гляньте, – сказал Демьян с передка. – Дорогу-то казённую содержат. Ровняют, канавы чистят. Это деньги. Большие.

Глеб приподнялся, размял затёкшую спину. Бедро, раненное на турнире, за десять дней почти зажило – ныло только к дождю. Ладонь, обожжённая огнём Аскольда, затянулась новой розовой кожей, тонкой, как у младенца. Тело подростка чинило себя быстро, не по-стариковски, и к этому он всё ещё привыкал второй жизнью.

Он смотрел на дорогу и читал её, как читал бы пациента. Ровный камень до горизонта, канавы для отвода воды, крашенные верстовые столбы. Не дорога – сосуд большого тела, и его держат в порядке, потому что по нему течёт то, чем тело живёт.

«Кто держит сосуд – держит и тело».

Чем ближе к столице, тем плотнее становилась кровь в этом сосуде. Сперва редкие подводы. Потом обозы по десять-пятнадцать телег, гружёные мешками, бочками, лесом. Потом кареты, обгонявшие их с барским пренебрежением, обдавая пылью, – и лица в окнах скользили по Глебу и его простой повозке равнодушно, как по пустому месту.

Он усмехнулся про себя. На севере он был тот, кто свалил Скалу. Здесь – мужик на телеге, каких тысяча въезжает в ворота за день. Имя, добытое кровью, тут не весило ничего.

Это не злило. Это было полезно знать.

Демьян правил молча, но Глеб видел, как солдат напрягается – чем гуще делалось движение, тем прямее держал спину, тем чаще клал ладонь на палаш под рогожей.

– Не любишь людно, – заметил Глеб.

– В поле видно, кто идёт и зачем, – отозвался Демьян, не оборачиваясь. – А тут... тут в спину пырнут, и не разглядишь, чья рука. Чую себя слепым, барин. Не люблю.

– Привыкнешь. Я тоже когда-то не любил.

Они въехали в столицу через Северные ворота на закате.

Глеб ждал стены – и стена была, старая, в подтёках, с башнями, на которых скучала стража. Но за ней открылось не то, что он рисовал по книгам прежнего хозяина тела. Не чинный имперский город с колоннами. Сначала – грязь и теснота предместья, лепящиеся друг к другу домишки, дым из тысячи труб, вонь жилья, навоза, кожевен, реки. Оружие торговли. Босая ребятня под копытами. Нищий без ног на дощечке с колёсиками, проводивший телегу пустыми глазами.

«Нижний город. Везде один и тот же. Таисье бы тут было как дома».

Чем выше поднималась дорога – а столица стояла на холмах, ярусами, – тем чище становилось вокруг. Грязь сменилась мостовой, домишки – каменными доходными домами, потом пошли особняки за оградами, фонари на столбах. Служитель как раз обходил их с лестницей и зажигал один за другим, и в синих сумерках город вспыхивал тёплыми точками, ползущими вверх по холмам.

Демьян присвистнул тихо.

– Это ж сколько свечей, барин. Каждый вечер. На одни фонари – целое состояние.

– Это не свечи, – сказал Глеб, приглядевшись к немигающему свету. – Это магия. Малые Печати в каждом фонаре, заряжают раз в месяц, наверное. На севере одна Печать – событие,

боярин ей гордится. Здесь их жгут на уличное освещение, чтобы господа не спотыкались в темноте.

Демьян долго молчал, переваривая. Потом сказал только:

– Богато живут.

– Богато, – согласился Глеб и не стал добавлять вслух того, что подумал: что вся эта Сила течёт через чьи-то руки, и тот, кто решает, в чьих фонарях ей гореть, и есть настоящая власть в этом городе. Демьяну хватало и «богато». Остальное Глеб оставил себе.

Он смотрел на разгорающийся огнями город, и азарт, что вёз его десять дней, впервые сменился чем-то трезвее. Не страхом – мерой. Масштаб того, во что он влез, проступал в этих ползущих вверх огнях яснее всякого письма канцлера. На севере враги были соразмерны: ростовщик, пахан, мальчишка-аристократ – он их видел, доставал рукой. Здесь враг зажигал и гасил вот это всё.

«Большую опухоль снаружи не возьмёшь – задавит. Только изнутри. Подойти вплотную, найти питающий сосуд и пережать».

– Куда теперь, барин? – спросил Демьян. – К канцлеру, что ль, прямо?

– Нет. К канцлеру – по приглашению, в назначенный час, умытым и в чистом, не с дороги. – Глеб оглядел улицу. – Спешка – это «ты мне нужен». Сейчас ищем ночлег. Не в Нижнем – там зарежут, и не наверху – там нам не по карману и слишком на виду. Середину.

Демьян кивнул, и в кивке было одобрение служаки: барин думает головой, не лезет сгоряча.

Постоялый двор нашли на третьем ярусе, в квартале ремесленников – чистый, без претензий, с конюшней. Демьян лично проверил, как поставят лошадь, осмотрел копыта, сторговал овса дешевле, чем просили. Комната была одна на двоих, тесная, с двумя жёсткими лежанками и окошком в глухой двор. Демьян запер дверь, проверил задвижку, заглянул под лежанки – солдатская привычка, – и только потом стянул сапоги, размял ступни.

– Барин. Дозвольте спросить. – Он говорил, глядя в пол, как всегда, когда лез не в своё. – Вы десять дён думали, молчали. А мне знать бы, к чему готовиться. Чтоб я не слепой был, когда прижмёт.

Глеб посмотрел на него. Сказать всё – разделить ношу. Не сказать – оставить слепым в чужом городе, а слепой солдат рядом опаснее любого врага: рванёт в худший момент, потому что не знал, куда не ступать.

Он не сказал всего. Но сказал больше, чем сказал бы месяц назад.

– Слушай, Демьян. Здесь три дела, и все опасные. Первое. Канцлер позвал меня под крыло. Он думает, что приручает полезного мальчишку из глуши. А это тот самый человек, что разорял мой род и, скорее всего, положил моего отца. Я иду к нему в дом не служить. Я иду посмотреть, где он уязвим. Долго, тихо, с улыбкой. Может тянуться год, может два. Тебе придётся терпеть и не хвататься за палаш, когда захочется.

Желваки у Демьяна заходили, но он молчал, слушал.

– Второе. Есть тут союзник, о котором канцлер не знает. Дальняя родня одного хорошего человека. – Имени Ольги Глеб не назвал даже ему. – Через них поищем тех, кто канцлера тихо ненавидит. Туда пойдём осторожно, без хвоста.

– А третье?

– Третье знать тебе пока не нужно. Не потому, что не доверяю. Потому что за него убивают сразу, и чем меньше ты знаешь, тем целее. Придёт время – скажу.

Демьян поднял глаза. Долгий взгляд, в котором не было обиды – было понимание, что барин честен даже там, где молчит.

– Понял. Канцлер – волк, мы при нём овцами. Союзники – крадучись. Третье – не моё, пока не позовёте. – Он помолчал. – Одного не пойму. Зачем в пасть лезть. Жили бы тихо, копили силу, ждали. Чего на рожон.

– Затем, что нет у меня времени, Демьян. – Это была правда, которую он почти никому не говорил. – Тихо отсидеться – для тех, у кого годы в запасе. А у меня их меньше, чем кажется. Не спрашивай почему, это из «третьего». Просто знай: тороплюсь не от удали. Часы тикают.

В комнате стало тихо. За окном, в глухом дворе, кто-то набирал воду из колодца – скрипел ворот, плескало.

Демьян натянул одеяло, отвернулся к стене. Но перед тем как затихнуть, сказал в темноту – неуклюже, по-солдатски:

– Часы там тикают или нет, барин, а я рядом. Сколько отмерено – столько прослужу. Только вы это... поменьше в одиночку решайте. Двое всё ж не один.

Глеб лежал, смотрел в тёмный потолок чужого города. Солдат, сам того не зная, нащупал то, что было в нём сломано ещё в прошлой жизни. Тащить одному. Всю жизнь – и ту, и эту – он считал, что так надёжнее.

Утром Глеб оставил Демьяна на постоялом дворе.

Тот было дёрнулся идти следом – привычка телохранителя, – но Глеб качнул головой.

– Один пойду. К союзникам ходят без охраны, иначе они читаются как угроза. И запоминай дорогу обратно, если задержусь. Лошадь не распрягай до полудня.

Демьян не любил отпускать барина одного в незнакомом городе, это было написано у него на лице крупными буквами. Но спорить не стал – только проверил, есть ли у Глеба под полкой нож, и буркнул, чтоб держался людных улиц.

Семь Мостов оказались не там, где Глеб думал. Прачечная улица лежала ниже третьего яруса, ближе к реке, – не Нижний город, но и не чистые верхние кварталы. Та самая середина, где живёт обедневшая знать и зажиточные ремесленники: дома ещё каменные, но штукатурка местами облетела, ограды без позолоты, и пахнет не духами, а мокрым бельём и дымом.

Он шёл и смотрел. Не глазел, как приезжий, – смотрел, как человек, которому скоро тут работать. Кто торгует, кто стоит без дела, у кого взгляд цепкий не по чину. На углу – мальчишка, вроде праздный, а глаза бегают по прохожим, считают. «Соглядатай или мелкий вор на стрёме. Не мой, чужой. Запомнить лицо». В подворотне – двое, говорят тихо, при виде него смолкли, проводили глазами. Город был полон таких мелочей, и каждая что-то значила, как мелкие симптомы складываются в картину.

Река дала о себе знать запахом раньше, чем он её увидел, – сырость, тина, рыба. Прачки на мостках колотили бельё вальками, перекрикивались. Над водой стояло семь мостов, старых, горбатых, перекинутых через реку и каналы, что от неё отходили, – отсюда и название квартала. Дом Зориных Глеб нашёл по приметам, что дала Ольга: третий от углового, с облезлым гербом над воротами – вороны на щите, едва различимые под слоем времени.

«Род, который видел лучшие дни. Герб не подновляют не от лени – от безденежья. Знак на воротах остался, а денег на краску нет. Это люди, которым есть что терять из гордости, но нечего терять из добра. Самые опасные союзники и самые верные».

Он постучал.

Открыли не сразу. Сперва в калитке отъехала заслонка, и в щель глянул старый слуга – подозрительно, снизу вверх.

– Чего надо?

– К Аграфене Зориной. По делу.

– Не принимает. – Заслонка дёрнулась обратно.

Глеб успел вставить слово раньше, чем она закрылась:

– Передай: от Ольги. С севера.

Заслонка замерла. Слуга помолчал, разглядывая его заново – уже не как попрошайку, а как загадку.

– Жди.

Заслонка закрылась. Глеб ждал. Долго – столько, сколько нужно, чтобы в доме посоветовались, оценили риск, решили. Это тоже была информация: значит, имя Ольги тут весит, значит, есть что взвешивать. Будь оно пустым звуком – его прогнали бы сразу.

Калитка открылась.

– Заходи. Одна примет. Оружие оставь у меня.

Глеб отдал нож рукоятью вперёд, без споров. Слуга ощупал его взглядом – ищет второе, – не нашёл, повёл через двор. Двор был чистый, но пустой: ни лишней утвари, ни прислуги, дом держался на нескольких руках. Внутри – та же бедность с достоинством: старая мебель, натёртая до блеска, выцветшие портреты предков на стенах, ни одной новой вещи.

Аграфена Зорина ждала в небольшой гостиной, у холодного камина. Глеб ожидал старуху – по тому, как Ольга говорила «наша родня в столице». Аграфена оказалась не старой: лет сорока пяти, прямая, сухая, в тёмном платье без украшений, с лицом, на котором годы нужды прорезали резкие складки, но не согнули. Глаза – серые, холодные, умные. Она смотрела на Глеба так, как смотрят на счёт, который не помнят, чтобы выставляли.

– Значит, от Ольги, – сказала она вместо приветствия. Голос сухой, без выражения. – Садись. И объясни, с чего бы девочке с севера слать ко мне незнакомого мальчишку. Письма не было. Предупреждения не было. Только ты на пороге с её именем во рту.

Глеб сел. Не торопясь. Быстро садятся те, у кого подкашиваются ноги.

– Письмо шло бы дольше меня, – сказал он спокойно. – И письмо можно перехватить. Имя на словах надёжнее.

– Имя на словах любой назовёт. – Аграфена не повела бровью. – Ольгу Зорину на севере знают многие. Назвать её – не штука. Чем докажешь, что ты от неё, а не от тех, кто хотел бы знать, с кем Зорины ещё держат связь?

«Умна. Сразу к делу, без любезностей. Не верит – и правильно делает. Будь она доверчива, род бы уже стёрли. Это не препятствие. Это проверка, и хорошо, что она есть».

Глеб не стал спорить и убеждать словами – слова тут ничего не стоили. Он молча снял с шеи цепочку. На ней висело простое серебряное кольцо, потёртое, что дала Ольга. Его он и снял с цепочки, положил на стол перед Аграфеной.

Лицо Аграфены изменилось.

Не сильно – она хорошо владела собой, – но Глеб увидел: узнала. Сухие пальцы взяли кольцо, повернули к свету, нашли что-то с внутренней стороны – клеймо, метку, он не видел, что именно. И когда она подняла глаза, в них была уже не подозрительность – тяжесть.

– Откуда оно у тебя, – тихо сказала она. Это был не вопрос проверки. Это был вопрос человека, который узнал вещь и испугался того, что её узнал.

– Ольга дала. В руку вложила перед тем, как я уехал. Сказала: покажешь Аграфене – примет как своего и не задаст вопросов. – Глеб помолчал. – Вопросы ты всё же задаёшь. Я не в обиде. На твоём месте я бы тоже не поверил мальчишке с дороги.

Аграфена долго молчала, держа кольцо в сухих пальцах. Потом положила его обратно на стол – но ближе к нему, возвращая.

– Это кольцо, – сказала она медленно, – Зорины дают только тем, за кого готовы умереть. Оно не подарок. Оно... порука. Ольга, отдав его, поручилась за тебя своей кровью и нашей. – Она посмотрела на него в упор, и в холодных серых глазах теперь был не лёд – тревога. – Ты хоть понимаешь, мальчик, что она сделала? Что должно было случиться, чтобы гордая девочка из обнищавшего, но не сломленного рода отдала родовую поруку чужому? Что ты ей такое, что она поставила на тебя всё, что у Зориных осталось, – честь?

«Не знал. Думал – ключ. Оказалось – клятва кровью. И я взял, не поняв веса».

Глеб не ответил сразу. Не потому, что не нашёлся, – потому что груз сказанного надо было принять честно, а не отмахнуться красивой фразой.

– Не знал, – сказал он наконец. – Думал, это связь, способ найти своих в чужом городе. Что это порука кровью – не знал. – Он выдержал её взгляд. – Но раз так – тем серьезнее я к этому отнесусь. Я не уроню того, что она в меня вложила.

Аграфена смотрела на него ещё долго. Холодные глаза читали его лицо так же, как он привык читать чужие, – и от этого было непривычно неуютно, будто пациент вдруг сам взялся ставить тебе диагноз.

– Посмотрим, – сказала она наконец. – Слова дешёвы. Но кольцо настоящее, и Ольгина порука настоящая, а значит, я обязана тебя выслушать и, если сказанное стоит того, помочь. – Она села прямее, сложила сухие руки на коленях. – Говори, мальчик. Зачем ты в столице и чего тебе нужно от Зориных. Только говори правду. Я отличу. Я всю жизнь на лжи живу – чужую вижу за версту.

Глеб молчал секунду, взвешивая. Сколько правды. Та же развилка, что с Демьяном, только цена ошибки выше: Демьян – свой по присяге, Аграфена – чужой человек, которого он видит впервые, пусть и с поручительством Ольги.

«Но Ольга поставила на меня весь род. Значит, и я должен ответить тем же весом. Полуправдой за полную поруку не платят. Если хочу союзника здесь – надо открыться. Это риск. Но без риска тут будут только знакомые, не союзники».

Он начал говорить.

Аграфена не ждала ответа сразу.

Она поднялась, прошла к буфету, достала графин и две рюмки – простого стекла, без узора, – налила тёмной наливки. Одну придвинула Глебу, другую взяла сама, но пить не стала, грела в сухих пальцах.

– Не отвечай быстро, – сказала она. – Быстрый ответ – это кровь говорит, а не голова. Мой муж ответил быстро. – Она усмехнулась, и усмешка вышла горькой. – Подумай. Я не тороплю.

Глеб не притронулся к рюмке. Думать ему было не над чем – он давно ответил себе, ещё на севере, у ворот Академии. Но он понимал: Аграфене нужно не его «победить», брошенное с порога. Ей нужно увидеть, что он не мальчишка, который кинется на канцлера с открытым забралом, как кинулся её муж.

– Я уже ответил, – сказал он спокойно. – Но не словом. Скажи лучше ты. Твой муж поехал искать правды открыто. Что он сделал не так? Не вообще – а по шагам. Где именно его взяли?

Аграфена посмотрела на него по-новому. Не как на просителя, а как на человека, который задаёт правильный вопрос.

– Хм. – Она отпила наконец. – Видишь сразу к делу. Хорошо. – Она поставила рюмку. – Он сделал не так всё. Поехал под своим именем. Подал прошение в открытую, через канцелярию, где его прочли раньше, чем оно дошло куда надо. Назвал вслух, при свидетелях, что знает про земли и про то, как они уходят. Думал, если громко крикнуть правду в столице, его услышат честные люди и защитят. – Она качнула головой. – Честных людей в столице не больше, чем везде. А вот тех, кто доносит за грош, – на каждом углу. Его взяли через девять дней. Не Острожский лично, упаси бог. Чужими руками. Всегда чужими.

«Не „его убили“ – его подставили под систему. Донос, чужие руки, ни одной нити, которую можно дёрнуть к Острожскому. Так и работает настоящая власть. Не марает рук. Это надо запомнить крепче всего».

– Значит, открыто нельзя, – сказал Глеб. – Имя не называть, прошений не подавать, громко не кричать.

– Значит, нельзя, – согласилась Аграфена. – А ты как собирался?

– Тихо. – Глеб подался вперёд. – Я не еду свергать канцлера, у меня нет ни войска, ни связей, ни имени. Я еду к нему в дом. Он сам меня позвал – под крыло, учить, открывать двери. Способному мальчику из глуши.

Аграфена замерла с рюмкой в руке.

– Он тебя позвал. – Она произнесла это медленно, будто пробуя на прочность. – Острожский. Сам.

– Сам. Прислал людей после турнира. Бумага придёт на днях.

Сухие пальцы Аграфены чуть сжали стекло. Она поставила рюмку, встала, прошлась по гостиной – не от волнения, Глеб видел, а думая, как ходят, когда раскладывают сложное.

– Ты понимаешь, что это меняет всё, – сказала она наконец, не оборачиваясь. – Мой муж ломился в запертую дверь снаружи. А тебя зовут войти. Сам хозяин открывает. – Она обернулась, и в серых глазах был расчёт. – Это или невероятная удача, или ловушка. Скорее всего, и то и другое разом. Острожский не зовёт мальчиков из любопытства. Если позвал – ты ему зачем-то нужен. Вопрос – зачем.

– Я думал об этом, – сказал Глеб. – Он сказал через людей: ценит головы, особенно в тех, кого прочие списали. Я на турнире взял не силой – тактикой, обманом, расчётом. Он покупает силу мешками, а такие головы – редкость. Хочет прибрать, пока не прибрал кто другой.

– Возможно. – Аграфена не выглядела убеждённой. – Возможно, и так. А возможно, он что-то знает про твой род, чего не знаешь даже ты, и зовёт не голову, а то, что за ней. – Она снова села, в упор. – Ты сказал, под вашей землёй что-то есть, из-за чего скупают. Что именно?

«Вот граница. Дальше – про осколок, про Источник. Это уже не „третье“, это его край. Назвать – значит отдать ей то, за что убивают. Не назвать – значит держать союзника наполовину слепым, как Демьяна. И она это поймёт, она умна».

Глеб молчал секунду дольше, чем следовало, и Аграфена это заметила – её взгляд стал острее.

– Не хочешь говорить, – сказала она сухо. – Понимаю. У всякого есть то, что не отдают с первого раза. – Она не давила. – Я и не прошу всего. Скажу так: пока ты не доверишь мне это «что-то», я могу свести тебя с людьми, могу учить, могу прикрывать. Но влезать в дело по-настоящему, рисковать тем, что у Зориных ещё осталось, – не стану, пока не пойму, на что ставлю. Это честно?

– Честно, – сказал Глеб. И добавил, потому что она заслужила прямоту: – Я скажу. Но не сегодня и не словом на слух. Когда увижу, что ты не дрогнешь от тяжести. Это не недоверие. Это вес. Тяжёлое нельзя совать в руки сразу – уронишь.

Аграфена смотрела на него долго. Потом, неожиданно, уголок её сухого рта дёрнулся – почти улыбка, первая за весь разговор.

– А ты не прост, мальчик. – Она покачала головой. – Восемнадцать лет, говоришь. Не верю. Глаза старые. Ну да это не моё дело. – Она встала, и тон сменился – с пытающего на деловой. – Хорошо. Раз тебя зовёт сам Острожский, у нас мало времени и много работы. Слушай, что будет дальше.

Аграфена вернулась к креслу, но не села – оперлась о спинку сухими руками.

– Раз тебя зовёт сам канцлер, слушай первое и главное. В его доме ты будешь не гостем. Ты будешь под наблюдением каждую минуту. Слуги, что подают тебе вино, доносят. Учитель, что станет тебя натаскивать, докладывает. Девицы, что строят глазки способному провинциалу, приставлены. – Она говорила сухо, по пунктам, как вбивают гвозди. – Не верь теплу. Острожский умеет быть тёплым, это его оружие острее всякого клинка. Он будет добр к тебе, как отец. Запомни: чем он добрее, тем внимательнее смотрит.

Глеб слушал не перебивая. Это была школа, которой не было у её мужа, – и оттого её мужа привезли в закрытом гробу.

– Как держаться? – спросил он коротко.

– Будь тем, кого он позвал. – Аграфена чуть прищурилась. – Он ждёт способного, благодарного мальчика из глуши, который не верит своему счастью. Вот им и будь. Благодарным. Чуть растерянным от столичного блеска. Жадным до учёбы и до его милости. Дай ему увидеть то, что он хочет видеть, – и он перестанет искать второе дно. Самое опасное, что ты можешь сделать, – показаться слишком умным. Умных он держит близко, но и боится. Покажешься простым и полезным – расслабится.

«Играть дурачка, который благодарен. Прикинуться меньше, чем ты есть. Это я умею – всю жизнь, что та, что эта, выгоднее, когда тебя недооценивают. Аскольд недооценил – лёг в песок. Острожский пусть тоже недооценивает. Дольше проживу».

– Понял, – сказал Глеб. – Не блистать. Быть удобным.

– Быстро схватываешь. – Аграфена наконец села. – Теперь второе. Тебе нужны не враги Острожского – мёртвые враги Острожского лежат тихо, как мой муж. Тебе нужны те, кто его пережил и затаился. Кто потерял от него и не простил, но хватило ума не лезть в открытую. Таких в столице горстка, и они друг друга знают, и чужих к себе не пускают. – Она помолчала. – Но одного я тебе назову. С него начнёшь. Осторожно.

Глеб ждал. Аграфена понизила голос, хотя в пустом доме их никто не слышал.

– Аптекарь. Зовут Корней Ильич Ставров. Держит лавку на Скорняжном ряду, во втором ярусе. С виду – тихий старик, травы, порошки, мази для господских желудков. – Сухие губы Аграфены тронула невесёлая складка. – А когда-то Ставровы были не аптекарями. Был род, был достаток, было имя. Острожский пустил их по миру так же, как твоих, – через долги, подставных, тихую петлю. Отца Корнея свели в могилу, всё забрали. Корней выжил один, ушёл на дно, выучился на аптекаря и затаился. Двадцать лет толчёт порошки и ждёт. Чего ждёт – сам, верно, уже не знает. Но Острожского он ненавидит так, как умеют ненавидеть только тихие.

«Аптекарь. Травник. Человек, который двадцать лет среди ядов и снадобий и при этом ненавидит канцлера. Это не просто союзник. Это нужный мне человек. Я хирург, он травник – мы говорим на одном языке. И у него есть то, чего нет у меня: двадцать лет столичных связей под прикрытием тихой лавки».

Глеб не дал лицу выдать, как точно легла эта ниточка. Но внутри всё встало на место.

– Чем он может быть полезен? – спросил он, будто прикидывал между делом.

– Знанием, – сказала Аграфена. – Аптекарь знает город изнутри, как никто. К нему ходят все – и лакеи за слабительным для господ, и господа за тем, о чём не говорят вслух. Через аптекарскую лавку течёт половина тайн квартала. Что в каком доме болеют, кто кого травит потихоньку, кто за кем посылает ночью. Корней слышит всё и молчит. Если он тебя примет – а это большое «если», он пуганный, – ты получишь уши в городе. Но подойти к нему надо так, чтобы он не закрылся. Один неверный шаг – и он увидит в тебе человека Острожского, и тогда лавка для тебя закроется навсегда. А может, и не только лавка.

– Как подойти? – Глеб подался вперёд.

– Не как боярич. – Аграфена качнула головой. – К нему боярич приходит только за одним – надавить или вывести. Учует сразу. Подойди как... – Она задумалась, оглядела Глеба, и в серых глазах мелькнул расчёт. – А подойди-ка ты как лекарь. Ты ведь не врешь, что разбираешься в теле, я по рукам твоим вижу, по тому, как ты сел, как держишься. Зайди к нему не покупателем – коллегой. Заговори с ним о деле, в котором он мастер, а господа – невежды. Покажи, что понимаешь в снадобьях, в теле, в хвори. Тихий старик, которого двадцать лет никто не слушал как равного, дрогнет на одно – на уважение к его ремеслу. Зацепи его этим. Дальше он сам приоткроется.

«Умно. Чертовски умно. Она не просто даёт ниточку – она читает меня и подбирает ключ под замок. Зайти как лекарь к лекарю. Это даже не игра – это правда. Я и есть лекарь. Впервые за всё время мне не надо притворяться. Надо просто быть собой – тем, кем был Сергей».

Глеб поднялся. День клонился к вечеру, в гостиной густели тени, и засиживаться дольше было незачем – главное он получил.

– Спасибо, Аграфена Зорина, – сказал он, и сказал серьезно. – Ты дала мне больше, чем я просил. Не только имя – способ.

– Я дала тебе начало. – Она тоже встала, проводила его взглядом, в котором смешались усталость и что-то похожее на давно забытую надежду. – Дальше всё в твоих руках, мальчик. И вот что. – Она остановила его у дверей. – Ставров – проверка. Не только для него, для тебя. Сумеешь подойти к пуганому старику, не спугнув, – значит, годишься для столицы, и я введу тебя дальше, к тем, кто весит больше аптекаря. Спугнёшь – значит, ты ещё мальчик, и я не стану тратить на тебя то, что осталось у Зориных. Понял?

– Понял, – сказал Глеб.

– Тогда иди. И заходи через три дня – расскажешь, как вышло. – Сухие губы дрогнули. – Если выйдет.

Глеб вышел во двор, где старый слуга молча вернул ему нож. Уже темнело, на Прачечной улице зажигались редкие фонари – здесь не такие, как наверху, тусклее, через один. Он шёл обратно к постоялому двору, к Демьяну, и в голове укладывался первый ход.

Не к канцлеру. К аптекарю. Сначала – тихий старик с двадцатилетней ненавистью и ушами по всему городу. И подойти к нему надо тем единственным, что у Глеба настоящее, не маска.

Завтра он шёл в Скорняжный ряд.

Глава 2 Лекарь к лекарю

Скорняжный ряд оказался не рядом, а целым кварталом – узкие улочки, где когда-то выделывали кожи, а теперь теснились лавки всех мастей. Запах стоял густой: дублёная кожа, деготь, пряности, и поверх всего – тонкая горьковатая нота трав, которая вела Глеба вернее вывески.

Лавку Ставрова он нашёл по этому запаху. Низкая дверь, потемневшая вывеска с пучком сушёных трав вместо букв – для тех, кто не разумеет грамоте, а таких в городе большинство. В окне за мутным стеклом теснились склянки, банки, связки корней. Глеб постоял снаружи, не входя, – посмотрел.

«Лавка бедная, но не запущенная. Склянки в порядке, по росту, по виду – мастер любит, чтобы под рукой лежало правильно. Пыли на витрине нет, протирает каждый день. Это не опустившийся старик. Это человек, который держит себя и дело в строгости даже на дне. Аккуратность – последнее, что бросают, когда падают. Если он её сохранил, значит, не сломался до конца».

Он толкнул дверь. Звякнул колокольчик.

Внутри было сумрачно и тесно, пахло ещё гуще – десятки трав разом, и Глеб, втянув воздух, привычно начал разбирать запах на составляющие, как разбирал бы симптомы. Ромашка, кора ивы, что-то горькое – полынь, что-то сладко-тяжёлое – дурман, и в глубине, едва уловимо, маковая нота. «Травник, который держит и сильные средства, не только желудочные. Мак – это уже не от живота. Это от боли, от бессонницы, а в больших дозах – и насовсем. У него тут аптека настоящая, не лавочка с пилюлями для барынь».

За прилавком сидел старик.

Худой, жилистый, с лицом, иссечённым морщинами так, что не понять возраста – могло быть и шестьдесят, и больше. Седые волосы зачёсаны назад, руки – узловатые, но точные, перетирали что-то в ступке мерным движением, не глядя. Глаза поднял не сразу. А когда поднял – Глеб увидел в них то, о чём говорила Аграфена: настороженность пуганого человека, который двадцать лет ждёт, что однажды в дверь войдут не за порошком.

– Чего изволите. – Голос ровный, тихий, без подобострастия. Не «чего изволите, барин» – просто «чего изволите». Старик уже понял по платью, что вошёл не лакей, но кланяться не спешил.

Глеб не стал говорить сразу, зачем пришёл. Он сделал то, чего Ставров не ждал, – подошёл к полке со склянками и стал их рассматривать. Молча, внимательно, как смотрит понимающий.

– Ивовая кора, – сказал он негромко, будто про себя. – Свежая, этого года, не лежалая – цвет правильный. От жара хороша, от ломоты. – Он перевёл взгляд. – А вот это у вас зря на свету стоит. Наперстянка. Ей темнота нужна, на свету сила уходит. Через месяц будет вполнину слабее.

Старик перестал перетирать.

Ступка замерла в узловатых руках. Ставров смотрел на Глеба молча, и в выцветших глазах таяла корка – медленно, недоверчиво.

– Барчуки наперстянку не знают, – сказал он наконец. Тихо, осторожно, как пробуют ногой лёд. – Барчуки знают, что от похмелья и что для приятного сна. А наперстянку – нет. Это лекарское.

– Я и есть лекарь, – сказал Глеб просто. И это было правдой, и оттого прозвучало так, как не прозвучала бы ни одна заготовленная ложь. – Не дипломированный, не цеховой. Полевой. Где учат не по книгам, а по тому, что под руками умирает.

«Полевой лекарь. Не вру ни словом. Сергей и был полевым – военный госпиталь, где теория не нужна, нужны руки и решение за секунды. Этому телу восемнадцать, и старик удивится, откуда у мальчишки такое. Пусть удивляется. Удивление лучше подозрения».

Ставров отложил ступку. Встал – медленно, разгибаясь по-стариковски, – и подошёл ближе, разглядывая Глеба через прилавок уже иначе. Не как покупателя. Как загадку по своей части.

– Молод ты для полевого, – сказал он. – Где ж ты успел повоевать в свои годы.

– Это долгий разговор, и не для первого знакомства. – Глеб выдержал его взгляд спокойно. – Скажу так: я видел много смертей и научился их оттягивать. Кому-то на день, кому-то на годы. Иногда руками. Иногда – травой. – Он кивнул на полки. – Поэтому и зашёл. Не за порошком. Захотелось поговорить с человеком, который в деле понимает. В этом городе, я смотрю, лекари торгуют барынькам притирания да гадают по моче за серебро. А настоящего ремесла будто и нет.

Попало. Узловатые пальцы дрогнули, старик на миг отвёл глаза. Двадцать лет человек толк порошки, и двадцать лет к нему ходили как к лавочнику, а не как к мастеру. Уважение к его делу было той дверью, которую Аграфена велела искать, – и дверь приоткрылась.

– Ремесло есть, – сказал Ставров глухо. – Только его никто не спрашивает. Господам подавай чудо да сладкую микстуру, а что я полвека на травах знаю – то им без надобности. – Он помолчал, и в голосе прорезалась давняя горечь. – Помрёт такой барин от того, что лечил живот, а болело сердце, – и виноват аптекарь, недоглядел. А что он сам моих советов слушать не желал – про то забудут.

– Сердце часто рядится животом, – сказал Глеб, и сказал не для подкупа, а потому что это была правда его ремесла. – Боль отдаёт под ложечку, человек думает – съел не то, пьёт от желудка и тянет, пока не поздно. Я таких видел. Их не аптекарь губит. Их губит то, что некому было вовремя руку на пульс положить и спросить правильно.

Старик посмотрел на него долго. Очень долго. И в этом взгляде Глеб прочёл, как у пуганого, осторожного человека что-то медленно поворачивается – не доверие ещё, до доверия далеко, но первая трещина в скорлупе.

– Садись, – сказал Ставров неожиданно. Кивнул на колченогий табурет у прилавка. – Раз уж зашёл поговорить о ремесле. Покупателей в этот час всё равно нет. – Он помедлил и добавил, словно сам себе удивляясь: – Давно не говорил с тем, кто понимает.

Глеб сел. Не показывая, что это – победа. Первый шаг сделан: старик не закрылся, старик пустил за прилавок. Дальше нельзя спешить. Дальше – медленно, как разматывают присохшую повязку, чтобы не содрать с раной живое.

Они говорили долго – о травах, о хворях, о том, как город гноит людей теснотой и сыростью. Ставров оттаивал медленно, по слову, как оттаивает промёрзшая земля – сверху, неохотно. Глеб не торопил. Он спрашивал по делу, слушал, кое-где поправлял мягко, кое-где соглашался, и старик всё чаще забывал свою настороженность, увлекаясь разговором, которого был лишён двадцать лет.

Дверь звякнула колокольчиком.

Вошла женщина – немолодая, в платке, из тех, кто прислуживает в богатых домах: платье опрятное, но чужое, с барского плеча. Лицо серое, испуганное. Она с порога заговорила быстро, глотая слова:

– Корней Ильич, батюшка, выручай. Барчук наш, молодой господин, второй день мается – живот скрутило, лежит пластом, лекарь барский пиявки ставил, клистир делал, а ему всё хуже. Жар поднялся. Барыня в слезах, послала меня за твоими порошками, что в прошлый раз от живота помогали. Дай скорей.

Ставров нахмурился, потянулся было к полке – и вдруг остановился. Глеб видел: старик сомневается. Он повернулся к женщине.

– Где болит-то у него? Покажи на себе.

Женщина замялась, ткнула ладонью куда-то в правый бок, ниже пупка.

– Тут вот. И книзу отдаёт. И ногу, говорит, не разогнуть толком, тянет.

Ставров застыл с рукой над склянками. Глеб увидел на лице старика сомнение – он чувствовал, что простым порошком от живота тут не обойдёшься, но не был уверен, а гадать на чужую жизнь боялся.

– Корней Ильич, – сказал Глеб тихо, чтоб не слышала служанка. – Это не живот.

Старик обернулся к нему.

– Жар, боль в правом боку внизу, отдаёт в ногу, нельзя разогнуть, и второй день нарастает, – продолжил Глеб так же тихо, перечисляя, как перечислял бы у постели. – Это не то, что лечат порошком. И уж точно не пиявками и клистиром – ему сейчас клистиром брюхо рвут, а там нельзя трогать. Это нутряной нарыв. Лопнет – человек сгорит за сутки, и никакая трава не спасёт. Тут не аптека нужна. Тут нож. Сегодня, пока не поздно.

Ставров смотрел на него, и в выцветших глазах было сразу всё – и проверка, которую старик подстроил молча, не подавая виду, и недоверие, и невольное узнавание. Он спрашивал без слов: ты уверен, мальчик? Ставишь чужую жизнь на свой диагноз?

– Уверен, – сказал Глеб, не дожидаясь вопроса вслух. – Видел такое не раз. И знаю, что делать. Но один не пойду – в чужой барский дом мальчишку с улицы не пустят к господскому сыну с ножом. Меня выгонят раньше порога. – Он встал. – А тебя, Корней Ильич, знают. За тобой послали. Если скажешь, что ведёшь помощника, лекаря, – пустят. Решай. У барчука не больше суток.

Старик молчал секунду, которая решала. Глеб видел, как в нём борются двадцать лет осторожности – не лезь, не высовывайся, тише воды – и давнее, лекарское, что не умерло под спудом аптекарской лавки.

– Дура, перестань реветь, – сказал Ставров служанке резко, уже на ходу снимая с гвоздя суму. – Беги вперёд, скажи барыне: иду, и веду человека, который умеет резать. Пусть барского коновала с пиявками гонят прочь и не подпускают к мальчику. Поняла? Беги.

Служанка метнулась за дверь.

Ставров покидал в суму склянки – быстро, без суеты, рука сама знала, что брать: что-то для сна, что-то против заражения, чистое полотно. Глеб смотрел и видел: старик собирается не как лавочник, а как тот, кем был когда-то, до того как Острожский втоптал его род в грязь. Руки помнили.

– Идём, – бросил Ставров, запирая лавку. – И вот что, мальчик. – Он остановился на пороге, глянул на Глеба снизу вверх, остро. – Если ты прав и спасёшь барчука – я тебе поверю. Не до конца, до конца я уж двадцать лет никому не верю. Но поверю настолько, что захочу узнать, кто ты на самом деле. А то, что ты не просто заезжий лекарь, я уже понял. Слишком ты для лекаря... – он подбирал слово, – тяжёлый. Будто не одну войну за плечами носишь, а больше, чем в твои годы влезает.

«Видит. Старый, пуганный, всю жизнь читавший людей по лицам – такого не обманешь мальчишеской кожей. Ну что ж. Сначала спасём барчука. А там посмотрим, сколько ему можно сказать».

– Сначала больной, – сказал Глеб. – Разговоры после. Веди, Корней Ильич. И по дороге расскажешь, что за дом, что за барин. Я хочу знать, к кому иду с ножом.

Они вышли в шумный Скорняжный ряд и быстро пошли вверх, ко второму ярусу, где ждал умирающий мальчишка и где Глебу впервые в этом городе предстояло сделать то, что он умел лучше всего на свете.

Резать, чтобы спасти.

Дом стоял на втором ярусе, в добротном квартале – не дворец, но крепкий каменный особняк зажиточного рода. Пока шли, Ставров на ходу, вполголоса, рассказал, что знал: семья Тверские, не из первых, но и не из последних, держатся торговлей и службой; барин в отъезде, хозяйка дома одна с детьми; занемог младший, Митя, лет четырнадцать.

«Митя. Как прежнего хозяина этого тела звали – Митрофан, Митя. Совпадение, а кольнуло. Ну, тем больше причин не дать мальчишке умереть».

Их пропустили сразу – служанка добежала и предупредила. В прихожей метнулась навстречу хозяйка – немолодая женщина с заплаканным лицом, и за версту было видно мать на грани.

– Корней Ильич! Слава богу. А это кто с тобой, мальчик совсем...

– Это лекарь, барыня, – сказал Ставров твёрдо, не дав ей засомневаться. – Полевой. Молод, да рукаст, я за него ручаюсь. Где Митя? Веди. И коновала своего гони, если ещё не выгнала.

– Выгнала, выгнала, – запричитала хозяйка, ведя их вверх по лестнице. – Он Митеньку совсем замучил, пиявки эти, промывания, а сыночку всё хуже, горит весь, в себя не приходит толком...

Глеб поднимался следом и уже работал – глазами, ушами, считывая дом. «Чисто. Богато в меру. Прислуги немного – значит, не первейший род, без лишних рук, что хорошо: меньше лишних глаз. Хозяйка в панике, слушается Ставрова беспрекословно – значит, командовать дадут, перечить не будут. Это важно. Резать при сопротивлении родни – хуже нет».

Митя лежал в жарко натопленной комнате – и первое, что сделал Глеб, переступив порог, – распахнул окно.

– Барыня, душегубка тут. Свежий воздух не вредит – вредит вонь и духота. – Он подошёл к постели.

Мальчишка был плох. Глеб увидел это с порога, а коснувшись – убедился. Лицо серое, заострившееся, губы сухие. Дышит часто, поверхностно. Лежит, подтянув правую ногу к животу, – не разгибает, бережёт. Лоб горячий под ладонью, но руки уже холодеют – тело начало сдавать. Глеб откинул одеяло, тронул живот – мягко, чутко, считывая пальцами. Мальчик застонал, не приходя в себя, дёрнулся, когда рука прошла над правым низом.

«Так. Напряжение справа внизу, как доска. Отдача при нажатии. Жар, частый пульс – сто двадцать, не меньше. Заострённые черты. Это перитонит на подходе – нарыв ещё не лопнул, но вот-вот. Часы. Может, меньше. Если лопнет до того, как вскрою, – всё, зальёт нутро, и тогда уже ничего, сгорит за сутки в горячке. Резать надо сейчас».

– Корней Ильич. – Глеб выпрямился, обернулся к старику, и голос у него был уже другой – ровный, командный, голос человека за операционным столом. – Времени нет. Нарыв вот-вот прорвётся. Режу сейчас. Мне нужно: кипяток, много. Чистое полотно, рвём на полосы. Крепкое вино или водка – обеззаразить руки и нож. Игла и крепкая нитка – шёлк, если есть, или жильная. Твой острый нож, я свой не возьму, у тебя чище. И свет – сюда все свечи, что есть в доме, лампы, всё. Резать буду при свете, не на ощупь.

Ставров не переспрашивал. Он повернулся к хозяйке и начал отдавать приказы – коротко, властно, и женщина, вцепившись в эту твёрдость, как утопающий, кинулась исполнять, погнала прислугу.

Глеб тем временем мыл руки – долго, тщательно, в принесённом тазу, оттирая под ногтями, потом залил водкой. Старик смотрел на это молча, и Глеб видел в его глазах понимание: барский коновал рук бы не мыл, барскому коновалу и в голову не пришло бы. А этот моет, как перед чем-то важным.

– Зачем руки-то так трёшь, – тихо спросил Ставров, подавая полотно. – До крови почти.

– Затем, что грязь с рук уходит в рану, а из раны – в кровь, а из крови – в могилу, – ответил Глеб, не отрываясь. – Этого глазом не видно, Корней Ильич. Но оно есть. Зараза мелкая, мельче пылинки. Кто режет грязными руками – тот хоронит чисто. Я хоронил таких. Чужими руками сгубленных – хирургами, что не мыли. Больше не хочу.

Старик молчал. Но Глеб чувствовал: вот сейчас, на этих словах про невидимую заразу, которой не учат ни в одном здешнем лекарском цеху, Ставров поверил ему уже не наполовину. Потому что это было знание не из этого мира – и старик, всю жизнь чуявший в людях больше, чем говорилось, не мог этого не учуять.

Принесли свечи – десятка два, расставили вокруг постели, и комната залилась дрожащим жёлтым светом. Принесли кипяток, вино, полотно, иглу. Ставров протянул свой нож – узкий, остро отточенный, чистый. Глеб опустил его в водку, подержал над пламенем свечи, дал остыть.

Хозяйка стояла в дверях, белая, прижав ладони ко рту. Глеб обернулся к ней.

– Барыня. Сейчас будет страшно и будет кровь. Митя может кричать, хоть и без памяти. Тебе тут не место – ты будешь мешать, кинешься под руку в худший момент, такое всегда бывает. Иди вниз. Молись, если умеешь. Корней Ильич мне поможет, он знает как. Я позову, когда всё кончится. – Он сказал это мягко, но так, что не послушаться было нельзя. – Доверься. Я твоего сына вытащу. Слово даю.

Хозяйка всхлипнула, перекрестила его дрожащей рукой – и ушла, увели её служанки. И это было правильно: лишних в операционной быть не должно, даже если операционная – детская спальня в чужом доме.

Глеб остался с умирающим мальчишкой, со стариком-аптекарем и двумя десятками свечей.

Он закатал рукава, взял нож. Руки были тверды – эти руки помнили сотни таких минут, тысячи, через две жизни. Страх ушёл, как уходил всегда перед работой, остался только холодный ясный покой и больная перед ним.

– С богом, Корней Ильич, – сказал Глеб тихо. – Держи свет и подавай, что попрошу. И что бы ни увидел – не дрогни. Поехали.

И опустил нож.

Дальше время сжалось, как всегда сжималось над работой.

Глеб резал. Не глубоко, не широко – ровно настолько, чтобы добраться. Кожа, под ней слой, ещё слой, и каждый Глеб проходил так, как будто видел его насквозь, потому что и правда видел – память тела вела руку вернее глаза. Ставров держал свечу близко, не дрожа, и подавал, что просили, и старик не из брезгливых оказался, крови не боялся, руки твёрдые. «Лекарь и есть. Настоящий. Был, есть и будет, что бы из него ни сделала жизнь».

Кровь он останавливал на ходу – прижимал, тампонировал полосами полотна, что подавал Ставров. Мальчишка стонал в забытии, дёргался, и Глеб коротко бросил старику держать ноги, и тот навалился, придавил.

Вот оно. Нарыв – вздутый, налитой, багровый, готовый лопнуть от одного касания. Ещё час, может, два – и прорвался бы сам, залил бы всё внутри, и тогда конец.

– Успели, – сказал Глеб сквозь зубы. – На волосок. Корней Ильич, тазик ближе. Сейчас будет дрянь.

Он вскрыл нарыв точным коротким движением, отведя в сторону, чтоб не плеснуло в рану, – и в подставленный таз пошло то, от чего Ставров, выдавший виды, всё же отвернул лицо. Глеб не отвернулся. Глеб работал – вычищал, промывал кипячёной водой, остуженной до терпимого, убирал всё до последнего, потому что оставишь каплю заразы – вернётся хворь и доконает. Потом – чистый осмотр, потом игла, шёлковая нить, что нашлась в доме, и он зашивал, ровно, стежок за стежком, как зашивал тысячи раз.

Когда наложил последний шов и прижал к ране чистую повязку, в комнате стояла тишина, нарушаемая только тяжёлым дыханием мальчишки – уже не частым, рваным, а глубже, ровнее. Жар спадёт не сразу, но яд из нутра ушёл, и тело, молодое, получило шанс.

Глеб выпрямился, и только теперь почувствовал, что рубаха прилипла к спине, что руки начинают мелко дрожать – отходняк, всегда после, когда отпускает. Он разогнулся, перевёл дух.

– Жить будет, – сказал он. – Если рану держать в чистоте и менять повязку, как покажу. Дней десять полежит, окрепнет. Молодой, вытянет.

Ставров смотрел на него через постель, в дрожащем свете догорающих свечей. Старое лицо было мокрым – не от пота. И смотрел старик так, как не смотрел ещё ни разу: без остатка настороженности, голо, потрясённо.

– Я полвека при лекарском деле, – сказал он тихо, хрипло. – Видел цирюльников, что рвут да пускают кровь. Видел цеховых, что по книгам латынь твердят, а больного боятся тронуть. Тебя такого – не видел. Ты режешь, как будто тебе сам Господь руку водит. И руки моешь от заразы, которой никто тут не знает. – Он покачал головой. – Кто тебя такому выучил, мальчик? Где? В какой такой войне?

«Вот и пришло. Он спас барчука, как я обещал, – и теперь я ему должен. Не золотом. Правдой. Хоть какой-то. Я прошёл больше, чем проверку Аграфены. Я нашёл человека. Такому можно начать говорить – не всё, но начать».

– Расскажу, Корней Ильич, – сказал Глеб устало, садясь на край постели рядом со спящим мальчишкой. – Кое-что расскажу. Ты заслужил. Только не здесь и не сейчас – дай руки отмыть и дух перевести. – Он посмотрел на старика. – Скажу так, для начала: ты не ошибся, что я не простой лекарь. И ты не единственный в этом городе, у кого свой счёт к тем, кто наверху. Может, у нас с тобой счёт-то к одним и тем же людям.

Старик замер.

Внизу, в прихожей, хлопнула дверь, послышались торопливые шаги, голос – мужской, властный, – и заплаканный голос хозяйки в ответ. Кто-то приехал. Кто-то, перед кем оробела даже мать, всю ночь не отходившая от умирающего сына.

Ставров глянул на дверь, потом на Глеба, и в выцветших глазах мелькнула опаска.

– Это, надо думать, вернулся хозяин, – сказал он тихо. – Барин Тверской. – Он помолчал, прислушиваясь к голосу внизу. – Только голос не его. Этот голос я знаю. И тебе, мальчик, лучше бы пока не говорить, кто ты и откуда. Потому что человек, что поднимается сейчас по лестнице, – из тех самых. Из наверху.

Шаги были уже на лестнице.

Глава 3 Человек канцлера

Шаги на лестнице были неторопливые.

Это Глеб понял сразу, ещё не видя гостя. Человек, у которого сын или племянник при смерти, бежит через две ступени. А этот шёл размеренно – так ходит тот, кто никогда никуда не спешит, потому что мир сам его дожидается. «Не родня мальчишке. Родне не до степенности. Это кто-то, кому Митя – не кровь, а интерес. Уже плохо».

Он успел шепнуть Ставрову:

– Я подмастерье твой. Безымянный. Молчу, ты говоришь.

Старик едва заметно кивнул и встал так, чтобы заслонить Глеба плечом – не спрятать, а сместить с первого взгляда на себя.

Гость вошёл.

Немолодой, лет пятидесяти, в дорогом, но неброском платье – без золота, без показухи, и оттого ещё дороже на вид. Лицо гладкое, спокойное, с той ровной любезностью, за которой не прочесть ничего. Глаза цепкие, быстрые – обежали комнату разом: спящий мальчик, окровавленное полотно в тазу, свечи, аптекарь, и при нём – незнакомый юнец с засученными рукавами и кровью на руках. Каждую мелочь гость подметил и сложил, по тому, как двинулся взгляд.

«Считает комнату, как я считаю больного. Профессионал. Не вельможа-болван, что видит только то, что под нос суют. Этот видит всё. С таким – только правду в мелочах, ложь учуёт».

– Корней Ильич, – сказал гость мягко, и в голосе была улыбка, не дошедшая до глаз. – Какая встреча. Не ждал застать тебя в этом доме. Ты ведь, помнится, к господам на дом не ходишь – годами не дозваться. А тут сам.

– Дело было спешное, Аникей Петрович, – отозвался Ставров, и Глеб уловил, чего стоило старику это спокойствие. – Мальчик умирал. Послали – пришёл. Лекарское дело не разбирает, чей дом.

– Умирал. – Аникей Петрович подошёл к постели, глянул на спящего Митю – без особого тепла, скорее оценивающе. – А теперь, гляжу, спит спокойно. Стало быть, спасли. – Он перевёл взгляд на Глеба, и взгляд этот был как игла, входящая мягко, но до кости. – И спас, надо думать, не ты, Корней Ильич. Ты травник, ножом не работаешь. А тут резали. – Кивок на таз. – Это кто ж у нас такой? Новый подмастерье?

Глеб молчал, опустил глаза, как полагается подмастерью при господском разговоре. Но внутри работал быстро. «Знает Ставрова годами – значит, при верхах давно, отслеживает аптекаря не первый день. Имя-отчество, степенность, цепкость, неброская дорогая одежда – это не вельможа. Это человек вельможи. Управляющий, доверенный, глаз и ухо при ком-то большом. И раз Ставров его боится – при ком именно, гадать недолго».

– Подмастерье, Аникей Петрович, – сказал Ставров. – С севера прибилсь, лекарскому учится. Руки, вижу, есть – дал ему резать, сам стар, глаза не те. Парень справился.

– С севера. – Аникей Петрович смаковал слово, не сводя с Глеба глаз. – Молод больно для такой работы. Я вон полостных резов на своём веку повидал – не всякий цеховой так чисто вскрыет, как тут, гляжу, сделано. – Он наклонился над повязкой, не касаясь, рассматривая шов. – Ровно шито. Учёная рука. Подмастерья так не шьют, Корней Ильич. Подмастерья так и за десять лет не научаются.

Повисла тишина. Старик не нашёлся сразу, и Глеб почувствовал: ещё миг молчания – и эта пауза сама станет уликой. Аникей Петрович загонял аптекаря в угол вежливо, не повышая голоса, и наслаждался этим.

Глеб поднял глаза.

«Молчать дальше – проиграть. Он уже не верит в подмастерье. Тупое отрицание загонит глубже. Значит – не отрицать, а сместить. Дать ему правду, но не ту, что опасна. Пусть схватит брошенную кость и думает, что докопался».

– Виноват, ваша милость, – сказал Глеб тихо, чуть запнувшись, как робеющий перед господином провинциал. – Корней Ильич меня покрывает, доброты ради. Не подмастерье я ему. Лекарь я, полевой, с северной границы. Цеха не кончал, грамоты лекарской не имею – оттого и пристал к аптекарю, без бумаги-то меня в столице к больному не подпустят. А резать умею – на войне выучился, там быстро учат или вовсе не учат. Корней Ильич пожалел, не выдал, что я без диплома работаю. Не сердчайте на старика. Это я его упротосил.

Он смешал правду с тем, что хотел показать: настоящий полевой лекарь без диплома, прибившийся к аптекарю не из заговора, а из нужды. История цельная, проверяемая, скучная. Ничего про род, про Острожского, про то, зачем он на самом деле в столице.

Аникей Петрович слушал, склонив голову. И Глеб видел: версия легла. Не до конца, такой не верит до конца никому, но – правдоподобно, объяснимо, неопасно. Цепкий взгляд чуть смягчился – не теплом, а тем, что загадка получила разгадку, пусть и не всю.

– Полевой лекарь без диплома, – повторил Аникей Петрович. – Резал на границе. Это бывает. – Он выпрямился. – А скажи-ка, лекарь без диплома, как тебя звать?

– Глеб, ваша милость. – Имя он отдал спокойно – имя само по себе ничего не стоило, мало ли Глебов. Фамилию не назвал, а гость и не спросил пока.

– Глеб. – Аникей Петрович кивнул, будто заносил куда-то про себя. – Что ж, Глеб. Считай, тебе повезло, что мальчишку ты вытащил, а не уморил. Уморил бы – без диплома-то, без цеха – пошёл бы под суд, и аптекарь с тобой. А вытащил – другое дело. – Он помолчал, разглядывая Глеба заново, уже с новым, деловым интересом. – Вытащил ты его чисто. Очень чисто. Такие руки в столице на вес золота, диплом не диплом.

«Сменил гнев на интерес. Только что грозил судом, теперь прикидывает, на что я гожусь. Этот человек не злодей в лоб. Этот человек – приобретатель. Он всё, что видит, мерит: можно ли употребить с пользой. Я для него только что превратился из улики в товар. Опасно. Но и дверь – вот она, приоткрывается. Та самая дверь наверх».

Глеб не торопился в эту дверь. Шагнуть слишком охотно – выдать, что он её ждал.

– Спасибо на добром слове, ваша милость, – сказал он, опустив глаза. – Я своё дело знаю. Больше ничего и не умею.

– Скромн. – Аникей Петрович чуть усмехнулся. – Это хорошо. Хвастливых лекарей я не люблю – хвастливый загубит и не покраснеет. – Он повернулся к Ставрову. – Корней Ильич, мальчик за раненым присмотрит до утра? Хозяйке скажи, я распоряжусь, чтоб накормили и положили. А утром, как рассветёт, – он снова глянул на Глеба, – зайди-ка ты, лекарь Глеб, по одному адресу. Есть разговор. Не пугайся, не под суд. Дело, на котором такие руки, как твои, могут заработать куда больше, чем у аптекаря на побегушках.

Он назвал улицу и дом – Глеб запомнил с первого раза – и, не прощаясь особо, вышел так же неторопливо, как вошёл. Шаги удалились по лестнице, размеренные, неспешные.

В комнате снова стало тихо. Догорали свечи. Митя ровно дышал во сне.

Ставров медленно опустился на табурет, и Глеб увидел, как у старика подрагивают руки – отпустило напряжение, которое тот держал весь разговор.

– Ну, мальчик, – сказал Ставров глухо. – Влип ты. И я с тобой.

– Влип, – согласился Глеб, садясь рядом на второй табурет. – Расскажи, во что. Кто такой этот Аникей Петрович, что ты при нём дышать перестал.

Ставров не ответил сразу. Встал, проверил Митю – ровно ли дышит, – подоткнул одеяло привычной рукой, и Глеб понял: старик тянет время, собирается с духом. Наконец сел обратно, понизил голос почти до шёпота, хоть в комнате были только они да спящий мальчишка.

– Аникей Петрович Жильцов, – сказал он. – Управляющий делами. Большими делами. Знаешь, мальчик, как оно устроено наверху? Сам вельможа рук не марают. У него есть человек, который марают за него. Который знает, у кого долги, у кого дочь на выданье, у кого тайный грешок. Который покупает, давит, улаживает – тихо, без шума, чтоб у хозяина руки чистые. Вот Жильцов – такой человек. И служит он... – Ставров запнулся, оглянулся на дверь, – служит он канцлеру. Острожскому.

Что-то холодное прошло у Глеба под рёбрами. Не страх – узнавание. «Первая нить. Я искал, как подобраться к Острожскому, ломал голову, как войти в круг, – а круг сам прислал ко мне человека. Через умирающего мальчишку, через нож, через случай. Жизнь иногда подаёт то, что ищешь, – только в руки, которые не ждали».

– Жильцов служит Острожскому, – повторил Глеб, укладывая. – И зовёт меня утром на разговор. Не под суд – на дело, где такие руки заработают больше, чем у аптекаря.

– Зовёт. – Ставров смотрел на него тяжело. – И вот что я тебе скажу, мальчик, и слушай хорошо. Это и есть петля. Так оно и затягивается – не силой, лаской. Сперва дело, заработок, доброе слово. Потом ты уже нужен, ты уже ходишь к ним, тебя уже знают. А потом в один день тебе скажут сделать то, от чего нутро воротит, и ты сделаешь – потому что отказать уже нельзя, ты в кулаке. – Старик помолчал, и в выпетших глазах встала давняя боль. – Я знаю, о чём говорю. Мой род так и взяли. Не штурмом. Услугами. Сперва Острожский был добр к нам. Очень добр.

«Аграфена то же самое говорила про тепло. Двое разных людей, не стовариваясь, об одном: боясь его доброты. Значит, правда. Значит, главное оружие канцлера – не страх, а благодарность. Он привязывает не цепью – одолжением».

Глеб слушал и не перебивал, а внутри, под спокойным лицом, что-то вдруг шевельнулось – чужое.

На один короткий миг, когда Ставров произнёс «в кулаке», Глеба обдало не его собственным чувством. Тонкой, как сквозняк, волной прошёл чужой страх – загнанный, звериный, с привкусом табачного дыма и дешёвого одеколона, – и тут же исчез. Глеб моргнул. Сердце на секунду зашло не в его ритме.

«Опять. Это он. Огневик. Тот, чью Печать я взял на севере. Сидит во мне тихо, а на чужой страх – откликается своим, будто эхо. Как тогда, в первый раз. Реже стало, но не ушло. Чужой страх в моей груди, чужой запах в моём носу. Надо будет разобраться, что это. Не сейчас. Сейчас – Жильцов».

Он отодвинул это – бережно, не отмахиваясь, потому что чуял: с этим шутить нельзя, это не пройдёт само. Но и думать об этом было не время.

– Я понял про петлю, Корней Ильич, – сказал Глеб. – Лучше, чем ты думаешь. – Он посмотрел старику в глаза. – И всё равно пойду.

Ставров вскинулся было – но Глеб поднял руку.

– Слушай. Ты бежал от петли всю жизнь – на дно, в аптекари, в тишину. И что? Острожский всё равно сидит наверху, твой род всё равно в грязи, а ты двадцать лет толчешь порошки и ждёшь неизвестно чего. Бегством его не достанешь. – Глеб говорил тихо, но твёрдо. – А я не бежать собираюсь. Я в петлю-то и полезу. Сам. С открытыми глазами. Потому что петля – она ведь в обе стороны затягивается, Корней Ильич. Кто в кулаке у Острожского – тот и близко к Острожскому. А мне близко и надо. Я не услугу приду оказывать. Я приду смотреть, как у них всё устроено – изнутри, из самого кулака.

Старик молчал долго. Свеча оплыла, выровняла пламя.

– Ты или безумец, мальчик, – сказал он наконец, – или такое, чего я за полвека не встречал. – Он покачал головой. – В пасть лезть, чтоб пасть изучить. Так не делают. Так делают только те, кому терять уже нечего и кто решил утащить врага за собой. – Он прищурился. – Ты из таких?

– Из таких, – сказал Глеб просто.

И что-то в лице старого аптекаря дрогнуло – не страх, не сомнение. Узнавание родной породы. Двадцать лет Ставров носил в себе ту же тихую решимость утащить врага за собой, только не знал, как, и оттого тлел, не горел. А тут перед ним сидел мальчишка, который знал – как, и уже шёл.

– Тогда вот что. – Ставров наклонился ближе. – Раз идёшь – иди не вслепую. Я тебе про Жильцова всё расскажу, что за двадцать лет собрал. Привычки, слабости, кого боится, кого держит, чем дышит. Уши-то у меня по всему городу, мальчик. Я ж тебе говорил. – Сухие губы тронула первая за всю ночь настоящая, недобрая усмешка. – Думал, помру и не пригодится никому. А оно, гляди, и пригодилось.

За окном начинало сереть. Ночь, в которую Глеб спас мальчишку и нашёл союзника, кончалась. Через несколько часов он шёл по адресу, что называл Жильцов, – в первый раз ступал в круг человека, который убил его отца.

А пока надо было дойти до постоянного двора, где всю ночь не спал, изводясь, верный Демьян, – и хоть немного поспать перед тем, как сунуть голову в пасть.

Демьян не спал.

Глеб понял это раньше, чем толкнул дверь, – по жёлтой полосе света внизу. На постоянном дворе в такой час свечей не жгли, свеча стояла денег, а Демьян денег зря не жёг. Значит, сидел всю ночь.

Солдат и правда сидел – на лежанке, спиной к стене, палаш поперёк колен, и не дремал, а смотрел в дверь. Когда вошёл Глеб, он не вскочил, только выдохнул, длинно, как выдыхают, когда отпускает то, что держали в кулаке часами.

– Живой, – сказал Демьян. Не вопрос. Проверка вслух.

– Живой. Извини. Так вышло – не было способа дать знать.

– Кровь чья. – Демьян кивнул на рубаху.

Глеб глянул на себя. Полотно на боку и на рукаве заскорузло бурым – не его, мальчишки Тверского, присохло за ночь.

– Не моя. Резал ночью одного. Вытащил.

Демьян смотрел на него ещё миг, потом кивнул и положил палаш под лежанку. Расспрашивать не стал – знал уже, что барин расскажет ровно столько, сколько решит, и ни словом больше, и что давить бесполезно. Но желваки у него за ночь окаменели.

Он сел напротив, стянул заскорузлую рубаху, плеснул из кувшина в таз, начал отмывать руки – привычно, до локтя, оттирая бурое из-под ногтей. Демьян молча подал ему чистую тряпицу.

– Слушай, – сказал Глеб, не отрываясь от рук. – Я тебя ночью бросил одного гадать, жив я или в канаве. Это плохо. Так не должно быть, и я постараюсь, чтоб не повторялось. Но ты должен понять одну вещь про этот город. Тут я часто буду уходить и не говорить куда. Не потому, что не доверяю. Потому что, если меня возьмут и начнут спрашивать, чего ты не знаешь – того из тебя и не вынут.

– Я понимаю, барин. – Демьян сказал это глухо. – Головой понимаю. А нутром – нет. Нутро у меня солдатское: командир ушёл в темноту один, без прикрытия, и я сижу, как баба, со свечкой. Не моё это. Я телом за вас стоять должен, а не свечку жечь.

– Сегодня твоё тело было нужнее здесь. – Глеб вытер руки. – Лошадь, поклажа, осколка тут нет, но бумаги мои тут, и если б ночью кто полез – полез бы сюда, не туда, где я был. Ты сторожил то, что нельзя потерять. Это не «свечка». Это пост.

Демьян подумал над этим. Солдату нужно было, чтобы сидение в темноте имело имя поста, – и Глеб дал ему имя. Лицо у Демьяна отошло, не до конца, но отошло.

– Куда ходили-то, скажете? – спросил он. – Хоть в общем.

– В общем – скажу. – Глеб лёг на свою лежанку, закинул руку за голову, и тело сразу напомнило про бессонную ночь тяжестью в каждой жиле. – Я нашёл нам человека. Тихого, с уважением в городе и со счётом к тому самому, к большому. И через этого человека на меня вышел другой. Из тех, кто при большом служит. Глаз его и рука.

Демьян нахмурился.

– Быстро. Двух дён не пробыли, а уже при вас человек канцлера.

– Быстро, – согласился Глеб. – Слишком быстро, чтоб было случайно, и слишком грязно подстроено, чтоб было нарочно. Так бывает: лезешь в воду – и тебя само несёт к стремнине. Меня зовут утром на разговор. Туда пойду один. А ты выпишись. Ночной пост сдал, теперь отдыхай, к полудню понадобится свежим.

– А вы? Вы ж не спали.

– Я час полежу. Мне хватит. – Это была правда тела, не бравада: Сергей умел брать сон кусками, по часу, как берут воду в окопе – сколько дадут. Военный медик, который ждёт нормального сна, не доживает до конца войны.

Демьян ещё поворчал, но лёг. Через минуту дышал ровно, по-солдатски провалившись разом. Глеб лежал, смотрел в потолок и слушал, что внутри.

Внутри было тихо. Зерно – Камень, ровный, тяжёлый, новый ещё на ощупь. Огневик молчал. После той ночной волны, когда чужой страх прошёл сквозняком на слова «в кулаке», жилец притих, забился в свой угол. Глеб мысленно тронул этот угол – осторожно, как трогают больной зуб языком. Тихо. Спит.

«Спит – и пусть. Но в чужом доме, под чужими глазами, он может проснуться. Запах, голос, страх – что угодно его будит. Надо держать это в голове, когда войду к ним. Не дать ему вылезти, когда меня будут читать».

Он закрыл глаза и уснул – ровно на час, как и сказал.

Дом, что называл Жильцов, стоял на втором ярусе, в тихом переулке за церковью, и Глеб опознал его раньше, чем сверился с приметами.

Не дворец. Не контора с вывеской. Крепкий, чистый, без всякой роскоши снаружи особняк, каких в переулке стояло ещё пять, и тем он и выделялся – тем, что ничем не выделялся. «Так прячут не бедность. Так прячут дело. Дом, который не хочет, чтоб его запомнили. Ставни простые, но крепкие. Замок на воротах новый, дорогой, а калитка обшарпана нарочно. Тут живёт человек, который не любит, когда на него смотрят, и умеет сделать, чтоб не смотрели».

Открыли сразу, будто ждали, – а его и ждали. Слуга, немолодой, с лицом без выражения, провёл Глеба не в гостиную, а в небольшую комнату на задах, где не было ни иконы, ни портретов, только стол, два стула и шкаф с бумагами под замком. Рабочая комната. Место, где не угощают, а решают.

Жильцов сидел за столом и что-то писал – мелким, ровным, бисерным почерком, не поднимая головы. Дал Глебу постоять. Это тоже была проверка: кто заговорит первым, кто переступит с ноги на ногу, у кого не выдержат нервы. Глеб стоял спокойно. Он умел ждать у постели по часу, считая чужой пульс. Постоять перед чиновником было нетрудно.

– Садись, лекарь Глеб, – сказал наконец Жильцов, дописал строку, присыпал песком, отложил перо. – Пришёл. Это хорошо. Я людей по двум вещам сужу сразу: пришёл ли, когда позвали, и в срок ли. Ты пришёл и в срок. Уже не дурак.

– Звали, ваша милость. Как не прийти.

– Многие не приходят. – Жильцов сложил руки на столе, и взгляд его, цепкий, прошёлся по Глебу – по лицу, по рукам, по чистой, но бедной одежде. – Боятся. Думают: позвал человек

сверху – быть беде. И прячутся. А беда-то их как раз и находит, тех, кто прячется. Ты не спрятался. Почему?

«Опасный вопрос с порога. Не „здравствуй“, а сразу скальпелем – зачем пришёл, чего не боишься. Аграфена сказала: будь тем, кого он ждёт. Он ждёт благодарного простака, которому деваться некуда. Им и будь».

– А куда мне прятаться, ваша милость, – сказал Глеб, и опустил плечи чуть-чуть, ровно настолько, чтоб показать усталость, не игранную. – Я в столице чужой, без диплома, без денег, при аптекаре из милости. Вы вчера верно сказали: уморил бы мальчишку – пошёл бы под суд. А вытащил – и то вашей милостью держусь. Прятаться мне не от чего и не за что. Мне работать надо. Позвали на дело – я и рад, что не под суд, а на дело.

Жильцов смотрел на него, и в гладком спокойном лице ничего не двигалось, кроме глаз. Глеб держал свою маску ровно: руки на коленях, взгляд чуть в стол, голос негромкий. Усталый рукастый провинциал, которому повезло и который это понимает.

Под этим раздевающим взглядом в груди шевельнулось чужое.

Слабо, на самой кромке, – но прошло. Тонкий укол страха не своего: загнанного, с привкусом табачного дыма и дешёвого одеколona. Огневик откликнулся на то, что и Глебу было неуютно под этими глазами, откликнулся своей памятью о том, как его самого вот так же раздевали взглядом перед концом.

И было в этом отклике не только это. Было узнавание. Жилец боялся не вообще – он боялся будто знакомого. «Печать эту я снял на севере со щёголя, что приходил за долгом от Зунделевича. Щёголь ходил под Зунделевичем, а Зунделевич – под кем-то большим, безымянным, столичным. Что, если вот он и есть та ниточка наверх? Что, если мёртвый огневик во мне знал Жильцова живём – и боялся его до дрожи? Тогда я ношу в груди не просто чужой страх. Я ношу свидетеля против этого дома».

«Тихо. Лежи. Сейчас не твой страх и не твоё дело. Командую тут я».

Глеб не дрогнул лицом. Он давно научился держать снаружи покой, когда внутри что-то билось, – на двух войнах иначе не выживали. Жилец прошёл волной и убрался обратно в угол, недовольный, но послушный.

– Складно, – сказал Жильцов. – Складно говоришь, лекарь. – Он чуть склонил голову. – Может, и впрямь простой. А может, и нет. Ну да мне твоя простота без надобности. Мне твои руки надобны. Идём.

Он встал, и Глеб понял: разговор кончен, начинается дело. Хорошо. С делом он управится вернее, чем со словами.

Жильцов повёл его не на улицу – глубже в дом, по тёмному коридору, к лестнице вниз. Не в подвал – в полуподвальный этаж, где жила прислуга и где в дальней комнате с одним подслеповатым окном под потолком лежал на кровати человек.

– Гляди, – сказал Жильцов, остановившись в дверях, и скрестил руки. – И скажи мне, что видишь. Только не ври. Соврёшь – пойму, и тогда мы с тобой не сговоримся. А правду скажешь – даже горькую – сговоримся.

Глеб шагнул в комнату.

Человек на кровати был немолод, грузен прежде, а теперь оплыл, как оплывает тот, кто тает изнутри. Лицо серое, землистое, с желтизной. Кожа на скулах натянулась, под глазами набрякли тёмные мешки. Он не спал – повёл на вошедших мутным взглядом, попытался приподняться и не смог, рука дрогнула и упала.

«Сначала смотрю, потом трогаю, потом спрашиваю. Как всегда».

Глеб смотрел. Не торопясь – так, как смотрят на больного, а не на загадку: сверху вниз, от головы к ногам, складывая мелочи. Волосы на подушке – клоками, лезут, на висках проплешины, какие не бывают в его лета сами по себе. Лицо в испарине, и от испарины – душок, слабый, но Глеб знал этот душок, ловил его на войне у отравленных колодцев: чесночный,

сладковатый, не от еды. Губы сухие, потрескались. На шее, на ключицах – тёмные пятна, будто загар, которого тут, в подвале, взяться неоткуда.

Он подошёл, взял безвольную руку. Пульс частый, нитевидный, перебоями. Ладонь шелушилась, кожа сходила пластами, как после ожога, которого не было. И ногти – Глеб задержал на них взгляд дольше всего. По каждому ногтю, поперёк, шли белёсые полосы, ровные, одна за другой, как годовые кольца на пне. Не одна. Несколько. Считаемых.

«Вот они. Полосы. По одной за каждый приступ. Их тут не на неделю – на месяцы».

– Давно болеет? – спросил Глеб, не оборачиваясь.

– Третий месяц, – сказал Жильцов от двери. – Сперва живот. Резь, рвота, понос. Лекарь сказал – грудная жаба пополам с расстройством желудка, лечил от того и от другого. Потом ноги отнялись слушаться, руки. Теперь вот лежит, тает. Лекаря я прогнал. Толку нет. Тает человек, и никто не скажет от чего. Говорят – пил тайно, оттого и нутро сгнило. Может, и пил. – Голос Жильцова был ровен, как всегда, но Глеб уловил под ровностью то, чего не ждал: этот человек был ему зачем-то очень нужен живым.

Глеб тронул живот больного – тот застонал, дёрнулся. Мышцы под пальцами были дряблые, исхудалые. Спросил тихо, наклонившись к самому лицу:

– Пальцы рук, ног – немеют? Будто чужие, будто иголками колет?

Больной разлепил сухие губы.

– Как не свои, – выдохнул он. – С весны. Будто в перчатках всё время. И жжёт по ночам.

Глеб выпрямился. Картина сложилась – вся, до последнего стежка, и стежки эти складывались не в болезнь.

Он повидал это дважды. Раз – на отравленном колодце, который враг засыпал белым порошком, чтоб выкосить заставу медленно, без шума, без боя. Второй – в мирной жизни, когда жена травила мужа полгода крысиным ядом по щепоти в борщ, и все думали, что у бедняги слабый желудок, пока он не помер, и пока дознаватель не сложил то же, что Глеб складывал сейчас. Чесночный дух. Полосы на ногтях. Слезающая кожа. Онемелые «чужие» руки. Волосы клоками. Приступы рези, что лечат от живота.

«Белый мышьяк. Малыми дозами, долго. Его не сожрала болезнь. Его травят. Кто-то сыплет ему отраву в еду или в питье третий месяц, по чуть-чуть, чтоб вышло похоже на хворь».

Здесь была развилка, и Глеб встал на ней на один удар сердца.

«Сказать правду – значит отдать Жильцову нож. Этот человек кому-то нужен живым настолько, что прогнали лекарей и зовут безродного с улицы. Значит, тот, кто его травит, бьёт не по нему – по тому, кому он нужен. По большому. Я только что увидел чужую войну, в которую меня сунули носом. Сказать – влезть в неё по локоть. Промолчать – Жильцов поймёт, что я вру или что я пустой, и я ему стану не нужен, а ненужных он, такой, прибирает. Он сам сказал: соврётся – не сговоримся».

Глеб повернулся к двери. Жильцов стоял там же, скрестив руки, и смотрел на него уже не лениво – остро, всем своим цепким нутром, потому что увидел по лицу лекаря, что тот что-то нашёл.

– Ну? – сказал Жильцов. – Нашёл, от чего тает?

– Нашёл, – сказал Глеб. И сказал тихо, чтоб не слышал больной: – Он не болен, ваша милость. Его травят.

В рабочей комнате наверху, куда Жильцов привёл его обратно и плотно закрыл дверь, стало очень тихо.

Жильцов не вскрикнул, не выругался. Он сел за стол, медленно, и положил перед собой руки, и долго на них смотрел. И эта его неподвижность была страшнее всякого крика – так замирает не растерянный человек, а тот, кто разом просчитывает дюжину ходов вперёд и не любит ни одного из них.

– Травят, – повторил он наконец, не поднимая глаз. – Ты уверен? Не пил, не желудок, не жаба грудная. Травят.

– Уверен, как в своих руках. – Глеб остался стоять. – Белый мышьяк. Малой дозой, долго, оттого и похоже на затяжную хворь. Полосы на ногтях – по одной на каждый приступ, их сосчитать можно, это месяцы. Кожа слезает, волос лезет, руки-ноги немеют, дух чесночный от пота. Это не болезнь так делает. Это яд. Кто-то сыплет ему в пищу или в питьё, в этом самом доме или там, где он ест. Каждый день понемногу.

Жильцов поднял на него глаза, и в них уже не было ленивого «приобретателя». Был холод, и за холодом – быстрый, опасный расчёт.

– Кто? – спросил он. – Можешь сказать кто?

– Нет. Я лекарь, не сыщик. Я говорю, что нашёл в теле. Кто сыплет – ищите сами. Но скажу одно: травит свой. Чужой не подберётся к чужому столу каждый день три месяца кряду. Это кто-то, кто рядом с ним всегда. Кому он верит.

Жильцов смотрел на него долго. Потом, неожиданно, тонко, недобро усмехнулся – впервые за всё время по-настоящему, не одной любезностью губ.

– А ты не прост, лекарь Глеб, – сказал он тихо. – Совсем не прост. Полевой лекарь без диплома складно так не складывает. Ну да ладно. Простой ты или нет – мне теперь без разницы. Теперь ты мне нужен. – Он встал, обошёл стол, оказался близко, и от него пахло хорошим табаком и одеколоном, и в груди у Глеба слабо, предостерегающе шевельнулся жилец. – Этого человека зовут Поликарп Саввич. Он держит в голове и в книгах счёт одного очень большого дома. Без него этот счёт – тёмный лес. Кому-то очень надо, чтоб Поликарп Саввич унёс свой лес в могилу. А моему хозяину надо, чтоб не унёс. Понимаешь, к чему я?

– Понимаю, – сказал Глеб, хотя внутри всё встало на холодные места. «Хозяин. Острожский. Я только что нашёл, что человека канцлера травят, и канцлеру я теперь нужен живым свидетелем чужой работы. Дверь не приоткрылась. Меня в неё втащили за руку».

– Спасти можешь? – спросил Жильцов. И это уже не был вопрос вельможи к холопу. Это был вопрос игрока к единственной карте, что легла нужной мастью.

Глеб помолчал. Не для красоты – он считал. Мышьяк, три месяца, тело уже на исходе.

– Может быть, – сказал он честно. – Если убрать отраву – не лекаря менять, а руку, что сыплет, – и если он не за гранью. Тело молодым не назовёшь, но он крепкий был. Я знаю, чем гнать яд и чем поддержать сердце, пока тело чистится. Но первое, что нужно, – не моё снадобье. Первое – чтоб он перестал получать отраву. Иначе я буду вычерпывать лодку, в которую льют быстрее, чем я черпаю.

– Это, – сказал Жильцов, и улыбка сошла с его губ совсем, – уже моя забота. Руку, что сыплет, я найду. А ты черпай. – Он подошёл к двери, отворил её, кивнул на коридор, и в этом кивке было то, чего Глеб добивался десять дней дороги и сам не ждал так скоро. – С нынешнего дня ты при Поликарпе Саввиче. Живёшь тут. Лечишь его. Никому ни слова – ни про яд, ни про то, чей это дом. Сделаешь – тебя заметят те, кого ты и во сне не видывал. Уморишь или сболтнёшь – ну, ты уже знаешь.

Глеб шагнул в коридор, к лестнице, что вела вниз, к умирающему чужому казначею, в дом, которого не было на карте, в самую сердцевину чужой тихой войны.

– Чистая вода, – сказал он, не оборачиваясь, уже считая на ходу, как считал всегда, входя в работу. – Своя посуда, своя еда, готовить при мне. Молоко, уголь печёный, железо. И человека верного к двери – чтоб никто, кроме меня, к его рту не подходил. С этого начнём.

– Будет, – сказал Жильцов ему в спину.

И Глеб пошёл вниз, к больному, закатывая на ходу рукава.

Гл

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.